



ДЖОН

СТЕЙНБЕК

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

ЗОЛОТАЯ ЧАША

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Джон Эрнст Стейнбек

Золотая Чаша

«Издательство АСТ»

1929

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Стейнбек Д.

Золотая Чаша / Д. Стейнбек — «Издательство АСТ»,
1929 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-121325-1

«Золотая Чаша», первая серьезная работа одного из самых известных американских писателей XX века, – это нетипичный для его творчества исторический роман, который покажет читателю новые грани таланта Джона Стейнбека. Написанное в жанре беллетризованной биографии, произведение повествует о жизни загадочного и порочного Генри Моргана – реально существовавшего пирата, разорившего побережья Центральной Америки во второй половине XVII века. В юности Морган несколько лет провел в рабстве, впоследствии прославился как искусный военачальник и вице-губернатор Ямайки. Но главными целями безжалостного преступника стали обладание красавицей Санта Рохой и покорение Золотой Чаши – Панамы. В руках Моргана оказывается все великолепие богатейшего города Вест-Индии, которое, однако, не приносит ему счастья... В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-121325-1

© Стейнбек Д., 1929

© Издательство АСТ, 1929

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	24
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Джон Стейнбек

Золотая Чаша

John Steinbeck
CUP OF GOLD

Печатается с разрешения The Estate of Elain Steinbeck и литературных агентств McIntosh and Otis и Andrew Nurnberg.

© John Steinbeck, 1929

© Copyright renewed by John Steinbeck, 1997

© Перевод. И. Гурова, наследники, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

* * *

Джон Стейнбек (1902 – 1968) – классик американской литературы, лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий. Великий мастер слова и великий знаток человеческой души. Автор признанных шедевров «Гроздь гнева», «Зима тревоги нашей», «О мышах и людях», «Квартал Тортилья-Флэт»... Его романы и повести пользуются заслуженной популярностью у читателей по всему миру. Они были неоднократно экранизированы, им посвящены статьи и монографии – но никакие литературные исследования не помогут понять произведения Стейнбека лучше, чем чтение его книг.

Глава первая

I

Весь день из черных ущелий Уэльских гор сеялся ветер, высвистывая весть, что с полюса на мир ползет Зима, и на реке постанывал молодой ледок. Угрюмый день, день серой бесприютности, день тревог. Легким своим движением воздух словно творил нежную элегию торжествующей печали о веселой беспечности. А на пастбищах могучие рабочие лошади беспокойно перебирали ногами, и по всему краю серенькие пичуги, сбившись в стайки по четверо и по пятеро, перепархивали с дерева на дерево, туда и обратно, призывным щебетом приглашая других желающих лететь вместе с ними на юг. Козы взбирались на вершины одиноких скал, заводили кверху желтые глаза и обнюхивали небесный свод.

Медлительной процессией прошли дневные часы, а на исходе вечера налетел опалелый вихрь, прошелестел по сухой траве и, всхлипывая, унесся вдаль через луга. Черным монашеским капюшоном опустилась ночь, и Ее Святейшество Зима отправила в Уэльс своего нунция.

Неподалеку от проезжей дороги, которая огибала долину, убегала вверх по расселине между двумя обрывами и вырывалась в необъятный мир, стоял старый крестьянский дом, сложенный из нетесаных камней и крытый соломой. Морган, воздвигший его, вступил в единоборство со Временем и едва не одержал победу.

Внутри в очаге плясал огонь, его языки лизали подвешенный над ним железный чайник, и чугунная духовка пряталась в углях, осыпавшихся с кромки пламени. Багровые отблески играли на наконечниках копий, сотню лет бесполезно пылившихся в подставках вдоль стены, — с тех самых пор как Морган сражался в дружине Глендаура и вспыхивал яростью от кремневых стрел Иолю Гоха.

Кованный сундук в углу всасывал свет медными полосами и ослепительно блестел. Хранились в нем бумаги, и пергаменты, и жесткие куски невыделанной кожи с записями на английском языке, на латыни, на древнем кумрийском: Морган родился, Морган взял жену, Морган был возведен в рыцари, Морган был повешен. В сундуке покоилась история рода, и позорная, и славная. Но теперь он настолько оскудел, что нынешние его обломки едва ли могли добавить к семейной хронике хоть что-нибудь, кроме простых дат — Морган родился... и умер.

Вот, например, Старый Роберт. Сидит в своем кресле с высокой спинкой, сидит и улыбается огню. Улыбкой недоуменной и вызывающей в своем смирении. Словно он улыбался сотворившей его Судьбе, чтобы понудить ее хоть чуточку устыдиться. Сколько раз он уныло думал о своей жизни, замкнутой в тесном кругу мелких неудач и поражений, которые насмешничали над ней, как уличные оборвыши — над калекой. Старому Роберту казалось странным, что он, знавший куда больше всех своих соседей и столько размышлявший, не сумел стать даже хорошим земледельцем. Порой ему мнилось, что он понимает слишком уж много, а потому не способен ничего делать хорошо.

И Старый Роберт улыбался огню, прихлебывая отдающий горелым эль, который сварил по собственному рецепту. Разумеется, его жена шепотом найдет ему множество извинений, и батраки в полях ломают шапку перед Морганом... — перед Морганом, не перед Робертом.

Даже его престарелую мать Гвенлиану — вот она, тоже сидит возле огня и дрожит, будто посвист ветра снаружи обдаст ее леденящим холодом, — даже ее не считают столь полной ничемностью. В нищих лачугах ее и побаиваются, и почитают. Когда она сидит в саду, окруженная сонмом подвластных ей темных сил, уж конечно, перед ней, краснея и тиская шапку, стоит какой-нибудь дюжий парень и благоговейно ловит ее колдовские речи. Уже много лет назад она

открыла в себе дар ясновидения и с гордостью прибегала к нему по любому поводу. Близкие, хотя и знали, что все ее вещания лишь догадки, которые с годами заметно утрачивали бывшее правдоподобие, выслушивали ее с уважением, напускали на себя благоговение и спрашивали, где искать потерянные вещи. Когда же после ее вдохновенного прорицания оказывалось, что пропавшие ножницы вовсе не провалились во вторую щель между половицами в сарае, они делали вид, будто отыскивали их именно там. Ведь, лишись Гвенлиана своей пророческой мантии, осталась бы только высохшая старушка со смертью за плечами.

Поддакивание выжившей из ума свекрови было тяжким испытанием для Матушки Морган, предательством самых заветных ее убеждений. Вся ее натура восставала, ибо сама она была послана в мир, несомненно, для того, чтобы стать бичом людской глупости. А все, что не имело касательства к учению святой церкви или к ценам на рынке, могло быть лишь пустым вздором.

Старый Роберт любил свою жену так сильно и так долго, что мог разрешать себе и не слишком лестные мысли о ней – его любви они ничуть не уменьшали. Когда днем она вернулась, кипя негодованием – сапожник заломил неслыханную цену за башмаки, которые ей вовсе не были нужны, – он подумал: «Ее жизнь подобна книге, полной великих событий. Что ни день, она достигает той или иной немислимой кульминации: из-за оторванной пуговицы, из-за соседской свадьбы... И если на нее обрушится истинная трагедия, она, пожалуй, не сумеет распознать холма среди бесчисленных кочек. Быть может, это и есть подлинно счастливый жизненный жребий, – решил он и тотчас добавил: – Любопытно, как она соотнесла бы кончину короля и потерю новорожденного поросенка?»

Матушка Морган была погружена в заботы дня сего и не морочила себе голову глупыми отвлеченностями. Кому-то в семье надо же и о деле подумать, не то кровлю разметет ветер, а чего ждать от таких сонных тетерь, как Роберт, Гвенлиана или собственный ее сын Генри? Любовь к мужу у нее слагалась из странного сочетания жалости и презрения, которые равно вызывали в ней и его беспомощность, и его благородство.

Юного Генри, своего сына, она любила слепой любовью, но, конечно, знала, что он еще слишком мал, чтобы уметь позаботиться о своей пользе или о своем здоровье. А они, все трое, любили Матушку Морган и боялись ее, и пугались у нее под ногами.

Она накормила их ужином, заправила лампу, завтрак уже готовился на огне, – и теперь она искала, чего бы починить, словно не штопала тут же каждую прореху, едва что-нибудь рвалось. И вот, отыскивая, чем бы занять руки, она вдруг остановилась и посмотрела на юного Генри. Взгляд этот, суровый и нежный, казалось, говорил: «Как бы он не схватил простуду! Пол-то холодный». А Генри поежился под ним, припоминая, что именно он забыл сделать сегодня. Но Матушка Морган уже схватила тряпку и принялась вытирать пыль. У юноши отлегло от сердца.

Он вытянулся на полу, опираясь на локоть, и всматривался сквозь пламя в собственные мысли. Долгий серый день, вонзившийся в таинственность ночи, пробудил в нем страстное томление, уже давно дремавшее под спудом. Он мучительно желал, сам не зная чего. Быть может, над ним властвовала та же сила, которая сбивала птиц в стаи, гнала их в неведомую даль, а животных заставляла нервно ловить ноздрями ветер – не несет ли он запах зимы.

В этот вечер юный Генри понял, что без толку прожил пятнадцать никчемных лет, ничего не совершил и не достиг ровнехонько ничего. Знай его мать, какие им владели мысли, она сказала бы: «Мальчик растет».

И его отец повторил бы следом за ней: «Мальчик растет». Но оба думали бы разное и не поняли бы друг друга.

Генри, если говорить о его лице, унаследовал черты родителей почти в равных долях. Материнские жесткие скулы, твердый подбородок, короткая и узкая верхняя губа. Но пухлая нижняя губа, но тонкий нос, но грезящие глаза – их он получил от Старого Роберта. Как и

крутые завитки густых черных голос. Однако лицо Роберта отражало бесконечную нерешительность, лицо же Генри излучало решительность – если бы ему только было что решать! Трое перед огнем – Старый Роберт, Гвенлиана и юный Генри – проникали взглядом сквозь стену и созерцали бестелесные видения, искали призраков во тьме.

Ночь была колдовская, когда можно увидеть плывущие над дорогой кладбищенские огни или тени римских легионеров, убыстряющих шаг, чтобы добраться до укреплений Карлиона прежде, чем разразится буря. А крошечные уродцы холмов ищут брошенные барсучьи норы, где удобно укрыться от ночи и от ветра, который с воем гонится за ними по лугам.

Внутри дома было тихо, только постреливали угли да шуршала под ветром солома терзаемой кровли. В очаге с треском лопнуло полено, выбросив узкий язык пламени, который огненным цветком прильнул к черному чайнику. Матушка Морган поспешила туда.

– Роберт, ты бы присматривал за огнем. Кочергой его надо, кочергой!

Таков был ее метод: она рылась кочергой среди разгоревшихся поленьев, пока совсем не сбивала с них пламя. А когда оно угасало, принималась яростно ворошить угли, чтобы оно запылало вновь.

С дороги донесся еле слышный шорох шагов: то ли там гулял ветер, то ли бродила невидимая нечисть. Однако звуки нарастали, оборвались возле двери, и в нее кто-то робко поскребся.

– Войдите! – крикнул Роберт.

Дверь бесшумно отворилась. Отблеск огня вырвал из ночного мрака согбенную фигуру обессиленного человека с глазами, как два чуть теплящихся огонька. Он помедлил на пороге, а потом вошел в комнату и спросил странным надтреснутым голосом:

– Ты меня узнаешь, а, Роберт Морган? Узнаешь, хоть и долго не был я здесь?

Это была мольба.

Роберт взгляделся в изможденное лицо.

– Узнаю ли? – сказал он. – По-моему, я никогда... Погодите... Неужели ты – Дафид? Маленький Дафид с нашей фермы, который ушел в море много лет назад?

Незнакомец просил от облегчения, точно Роберт Морган с честью вышел из хитрого и страшного испытания. Он усмехнулся.

– Дафид, он самый. Богатый... и промерзший до костей. – В его голосе нарастала тоска, как набежавшая судорога боли.

Выглядел он каким-то белесо-серым, заскорузлым, как пересохшая коровья шкура. Кожа на лице, казалось, настолько загрубела, что выражения на нем менялись лишь ценой сознательных усилий.

– Я промерз до костей, Роберт, – продолжал странный иссохший голос. – И больше не могу согреться. Зато я богат, – добавил он, будто одно уравнивало другое. – Разбогател вместе с тем, кого называют Большой Пьер.

Юный Генри давно вскочил с пола и теперь нетерпеливо воскликнул:

– Но где ты был? Где?

– Где? Да в Индиях. Вот где я был. В Гоаве, и на Тортуге – а слово это значит «черепашка», – и на Ямайке, и в дремучих лесах Испаньолы охотился на дикий скот. Я там всюду бывал.

– Ты бы сел, Дафид, – сказала Матушка Морган так, словно он никогда и никуда не уезжал. – Сейчас сделаю тебе теплое питье. А Генри-то так и ест тебя глазами, э, Дафид? Того гляди, сам в твои Индии соберется! – Сама она эти свои слова считала пустой шуткой.

Дафид молчал, словно подавляя желание говорить и говорить. Но Матушка Морган внушала ему тот же страх, что и в те годы, когда он был белобрысым деревенским мальчишкой. Старый Роберт понимал его смущение, да и Матушка Морган как будто что-то заметила, – сунув ему в руки дымящуюся кружку, она вышла из комнаты.

Дряхлая Гвенлиана сидела перед очагом, но сознание ее затерялось в волнах будущего, смутные глаза застлал грядущий день. За их блеклой голубизной словно громоздились события и судьбы, которые он нес. Она тоже удалилась из комнаты – удалилась в чистую стихию Времени и Будущего.

Старый Роберт подождал, пока за его женой не закрылась дверь, а потом поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, точно свертывающаяся калачиком собака.

– Так что же, Дафид? – сказал он и прищурился на огонь, а Генри, присев на пятки, почтительно взирал на смертного, который держал в горсти безмерность расстояний.

– Я, Роберт... я хотел рассказать про вечнозеленые непролазные чащи, и про коричневых индейцев, которые в них живут, и про того, которого называют Большой Пьер. Только, Роберт, что-то погасло во мне, точно огарок на ветру. По ночам я лежал на корабельных палубах и все думал, думал, как я буду рассказывать и хвастать, дай мне только домой вернуться. И вот я вернулся – точно малое дитя поплакать в родных стенах. Можешь ты это понять, Роберт? Хоть немного понять?

Он жадно наклонился вперед.

– Вот слушай. Мы захватили большой корабль с грузом серебра, галеон, как его там называют, а у нас были только пистолеты да тяжелые ножи – чтобы прорубать дорогу в зарослях. Двадцать четыре человека, всего-навсего двадцать четыре, оборванные, в лохмотьях... Но этими ножами, Роберт, мы творили гнусные дела. Скверно, когда парень, трудившийся на земле, творит такое, а потом все думает об этом и не может забыть. Капитан был храбрец, а мы подвесили его за большие пальцы и только потом убили. Не знаю, зачем мы это сделали. Я помогал – и не знаю почему. Кто-то сказал, что он проклятый папист. Так ведь и Большой Пьер, по-моему, тоже был из них. А других мы столкнули в море – и, пока они шли на дно, такие brave солдаты, изо рта у них рвались вверх пузыри, пузыри воздуха, а их панцири блестели и мерцали, опускаясь в глубину. Там в воде глубоко видно...

Дафид умолк и уставился в пол.

– Не хотел я тебя такими рассказами мучить, Роберт, да только у меня в груди под ребрами будто живая тварь грызет и царапает, чтобы выбраться вон. Я вот разбогател на таких делах, но все кажется, будто одного этого еще мало. А ведь я, может, побогаче буду твоего родного брата, сэра Эдварда.

Роберт улыбался крепко сжатыми губами. Иногда он обращал взгляд на сына, привставшего на колени у очага. Генри был как натянутая струна и жадно впитывал каждое слово. Когда Роберт заговорил, он не смотрел на Дафиду.

– Твоя душа изнемогает под тяжким бременем, – сказал он. – Утром откройся священнику. А в чем – знать не мне.

– Нет, душа тут ни при чем, – торопливо возразил Дафид. – В Индиях душа сразу же испаряется из человека и остается на ее месте одна какая-то сухость, и все словно сморщивается. Никакая это не душа, а отравы, что у меня в крови и в мозгу, Роберт. Из-за нее я и зарастаю плесенью, как лежалый апельсин. Ползучие твари и ночные летуны, которых приманивает в темноте твой костер, и большие бледные цветы – они там все ядовитые. И обрекают человека на неслыханные муки. Вот даже сейчас кровь скользит по моим жилам, точно ледяные иголки, а ведь я сижу перед жарким огнем. И все это, все из-за сырого и смрадного дыхания зарослей. Ты в них и не живешь вовсе, но стоит уснуть там или просто прилечь, как они дохнут на тебя и погубят. А коричневые индейцы... Да ты погляди! – Дафид закатал рукав, и Роберт с омерзением, знаком попросил его поскорее одернуть рукав, закрыть жуткую белую язву, которая разъедала ему локоть. – А ведь стрела только чуточную царапинку оставила, и не разглядеть было. Но уложит она меня в могилу до срока, уж я знаю. И отравы во мне не только эта. Там даже люди и те ядовитые. У матросов есть такая песня...

Юный Генри возбужденно перебил его.

– А индейцы? – вскричал он. – Индейцы и их стрелы? Расскажи про них! Они много воюют? Какие они из себя?

– Воюют? – повторил Дафид. – Воюют они все время. Воюют из любви к этому делу. Если на испанцев не нападают, так убивают друг друга. Гибкие они, точно змеи, быстрые, бесшумные и коричневые, как хорьки. И будто сквозь землю проваливаются, едва начнешь в них целиться. Но народ они храбрый и крепкий, и ничего не боятся, кроме собак и рабства! – Дафид все больше увлекался своим рассказом. – Знаешь, малый, что они делают с тем, кого захватят в стычке? Утыкают его с ног до головы длинными колючками, а на конец каждой колючки надевают комок пуха вроде мотка шерсти. И стоит бедняга пленный в кольце голых дикарей, и они поджигают пух. И тот индеец, который не запоет, пока горит, как факел, будет проклят и объявлен трусом. Можешь ты вообразить, чтобы на такое был способен белый? А вот собак они боятся, потому что испанцы охотятся на них с большущими волкодавами, чуть им потребуются новые рабы для рудников. Ну, индейцам-то рабство хуже смерти. Скуют попарно, загонят в сырое подземелье, и так год за годом, год за годом, пока не уморит их болотная лихорадка. Вот и рад всякий из них запеть, когда загорятся колючки, и умереть в огне.

Дафид замолчал и протянул худые руки к очагу, почти погрузив их в пламя. Свет, вспыхнувший было в его глазах, пока он говорил, вновь угас.

– Устал я, Роберт, так устал! – сказал он со вздохом. – Но не лягу спать, пока не открою тебе одного. Может, тогда мне легче станет, может, выговорюсь и забуду хоть на эту ночь. Не могу я теперь жить вдаль от зарослей, от их жаркого дыхания. Ведь тут, где я родился, меня бьет озноб и я все время мерзну. Так мне и месяца не протянуть. Наша долина, где я родился, вырос, трудился, изгоняет меня в смрадную геенну. Очищается от меня морозом. А теперь, не найдется ли у тебя для меня постели, и с толстым одеялом, чтобы моя бедная кровь не застыла вовсе? Утром я отправлюсь в путь. – Он умолк, и лицо его сморщилось, словно от боли. – А как я любил зиму!

Старый Роберт проводил его, поддерживая под локоть, потом вернулся и снова сел у огня. Он поглядел на юношу, который снова неподвижно вытянулся у очага.

– О чем ты думаешь теперь, мой сын? – немного погодя спросил он негромко. И Генри оторвал глаза от дальних земель по ту сторону огня.

– О том, отец, что мне надо поскорее уйти из дома.

– Я знаю, Генри. Весь этот год я смотрел, как желание уйти растет в тебе, точно крепкий дубок, – уехать в Лондон, в Гвинею, на Ямайку, все равно куда, лишь бы уехать. Потому что тебе пятнадцать лет, потому что ты силен и жаждешь новизны. Когда-то и для меня долина становилась все уже, все теснее, пока, мне кажется, немножко меня не задушила. Но разве тебя не пугают тяжелые ножи, мой сын? И яды, и индейцы? Они не внушают тебе страха?

– Не-ет, – медленно произнес Генри.

– Да, разумеется. С какой стати? Все эти слова для тебя лишены смысла. Но печаль Дафида, его муки, его больное, изможденное тело – разве они тебя не пугают? Неужели ты хочешь скитаться по свету с такой тяжестью на сердце?

Юный Генри надолго задумался.

– Таким я не стану, – сказал он наконец. – Буду часто возвращаться домой, чтобы моя кровь осталась здоровой.

Его отец продолжал мужественно улыбаться.

– Когда ты хочешь отправиться в путь, Генри? Без тебя тут будет очень пусто.

– Да как можно скорее, – ответил Генри, точно он был взрослым мужчиной, а Роберт – маленьким мальчиком.

– Генри, но прежде я попрошу тебя о двух одолжениях. Подумай сегодня о долгих бессонных ночах, которые предстоят мне из-за тебя, и о том, какими горькими будут мои дни. И о том, как твою мать будут часами терзать мысли, что ты весь обносился и забываешь молиться

на ночь. Это, во-первых, Генри. А во-вторых, поднимись завтра на Вершину к старому Мерлину, расскажи ему, что ты задумал уйти, и выслушай его. Он мудр – ни мне, ни тебе никогда не обрести такой мудрости. И ему ведомо колдовство, которое может сослужить тебе службу. Ты сделаешь это ради меня, мой сын?

Генри сказал грустно:

– Я бы остался, отец, но ведь ты знаешь...

– Да, мальчик. – Роберт кивнул. – На горе себе я знаю. А потому не могу ни рассердиться, ни приказывать тебе остаться. Хотя и предпочел бы запретить тебе даже думать об этом и высечь тебя в убеждении, что поступаю так для твоего же блага. Но иди ложись, Генри, и в темноте думай, думай, думай!

Юноша ушел, а Старый Роберт остался сидеть в кресле.

«Почему люди вроде меня хотят иметь сыновей? – размышлял он. – Наверное, в наших бедных искалеченных душах живет надежда, что эти юноши, в которых течет наша кровь, сумеют совершить все, чего сделать нам самим не хватило сил, или ума, или мужества. Так, словно тебе даруют еще одну жизнь, словно, проигравшись дотла за столом удачи, ты находишь в кармане еще один туго набитый кошелек. Быть может, мальчик поступает так, как следовало бы много лет назад поступить мне, если бы у меня достало мужества. Да, долина меня и правда задушила. И я рад, что у моего сына есть силы вырваться из кольца гор и выйти в широкий мир. Но здесь... здесь без него будет так пусто!»

II

На следующее утро Старый Роберт вернулся из своего розового сада очень поздно, и жена, подметавшая комнату, неодобрительно посмотрела на его выпачканные в земле руки.

– Он хочет уехать сразу же, мать, – неуверенно произнес Роберт.

– Кто это хочет уехать и куда? – Она продолжала орудовать метлой. Быстрые любопытные прутья выгоняли пыль из углов и щелей между половицами, перегоняли ее облачка на открытое место.

– Да Генри же! Он хочет сейчас же уехать в Индии.

Она прервала свое занятие и поглядела на него.

– В Индии! Послушай, Роберт... А, глупости все это! – закончила она, и метла еще энергичнее замелькала по полу.

– Я уже давно видел, как в нем росло это желание, – продолжал Роберт. – А тут явился Дафид со своими рассказами. Вчера вечером Генри сказал мне, что уезжает.

– Так он же еще малолетка! – отрезала Матушка Морган. – Какие там Индии!

– Когда Дафид ушел с зарей, в глазах мальчика была жажда, которой ему никогда не утолить, даже если он и отправится в Индии. Неужели ты не замечала, мать, как его глаза все время смотрят за горы на что-то, чего он жаждет?

– Да нельзя же ему ехать! Нельзя!

– Ничего не поделаешь, мать. Огромная пропасть лежит между моим сыном и мной, но не между мной и моим сыном. Не знай я, какой голод его гложет, я, возможно, запретил бы ему покидать дом и он бежал бы тайком со злобой в сердце. Он ведь не знает, какой голод гложет меня, какое желание, чтобы он остался! И конец был бы тот же, – сказал Роберт со все растущим убеждением. – Между мной и моим сыном есть жестокое различие, как я все чаще замечал последние годы. Он перебегает от одного горшка с холодной кашей к другому и в каждый сует палец, твердо веря, что вот тут-то и найдет яство своей мечты, я же не приподниму ни единой крышки, ибо твердо верю, что везде только каша, и всегда холодная. Да, я не сомневаюсь, что огромные блюда пурпурной каши, облитой молоком дракона, сдобренной

неведомой сладостью, существуют лишь в воображении. Он свои грезы испытывает явью, мать, а я, да смиляется надо мной Бог, страшусь поступить так же.

Эта пустая болтовня вывела ее из терпения.

– Роберт! – воскликнула она с сердцем. – Всякий раз, когда нам грозят беда, нужда или горе, ты прячешься за словами. Где твой родительский долг? Мальчик еще мал, а за морем всяких ужасов не перечесать, да и зима не за горами. Зимний кашель сведет его в могилу. Ты же знаешь, он простужается, чуть промочит ноги! Никуда он отсюда не уедет, даже в Лондон! И пусть эти его глаза, про которые ты толкуешь, иссохнут от голода. Откуда ты знаешь, с какими людьми он поведется? Каким глупостям, каким мерзостям они его обучат? Я-то знаю, сколько в мире зла. Священник ведь чуть не каждый день Господень твердит про силки и ловушки, которые расставляет нам суетный мир. Или ты не понимаешь? Но так оно и есть. А ты сидишь сложа руки и бормочешь всякие глупости про пурпурные каши, вместо того чтобы что-то сделать. Запрети ему – и делу конец.

Однако Роберт ответил с раздражением:

– Для тебя он малый ребенок, за которым надо присматривать, чтобы он помолился на ночь, а выходя из дома не забывал надеть курточку, и ты не замечаешь в нем стали, как замечаю я. По-твоему, когда он упрямо выставляет подбородок, это мимолетный каприз расшалившегося несмышленища. Но я знаю – и говорю тебе это без всякой радости, – что наш сын поднимется очень высоко, потому... да, потому что он не очень умен. И способен видеть только то, что хочет сейчас, сию минуту. Я сказал, что свои грезы он испытывает явью. И каждую он сразит стрелой своей же неумолимой воли. Этот мальчик добьется любой цели, к которой будет стремиться, ибо не признает ничьих мыслей и побуждений, кроме собственных, и я сожалею о его грядущем величии, ибо однажды Мерлин сказал нечто... Погляди на его гранитный подбородок, мать, на желваки, которые вздуваются на его скулах, когда он стискивает зубы.

– Он должен остаться дома, – объявила Матушка Морган и сжала губы в тонкую линию.

– Вот видишь, мать, – продолжал Роберт, – ты и сама бываешь такой же, как Генри, потому что не признаешь ничьих мнений, кроме собственного. Но я не стану ему препятствовать, потому что не хочу, чтобы он ушел тайком темной ночью, с куском сыра и краюхой хлеба за пазухой, с обидой в сердце. Я разрешаю ему уехать. И даже помогу, если он того захочет. Вот тогда, если я все-таки ошибаюсь в своем сыне, он вернется назад присмиривший, робко про себя надеясь, что никто не помянет его трусости.

Матушка Морган ответила: «Глупости», – и снова взялась за метлу. Она не поверит этому вздору и тем его рассеет. О, сколько всего она ввергла в небытие отказом поверить. Многие годы она сокрушала нелепые мечты Роберта тяжелыми фалангами здравого смысла. Ее войско атаковало без промедления и разбивало врага наголову. Роберт всегда устало отступал и некоторое время сидел, улыбаясь чему-то. Конечно, и на этот раз он скоро образумится.

Сильные загорелые пальцы Роберта рыхлили почву у корней розового куста. Они подхватывали комочки чернозема и аккуратно прихлопывали их там, где следовало. Время от времени Роберт с неизъяснимой любовью поглаживал серый ствол. Казалось, он поправляет одеяло на спящем и проводит рукой по его плечу, убеждая себя, что все хорошо.

День выдался ясный: зима чуть-чуть отступила и вернула миру взятого в плен заложника – маленькое холодное солнце. В сад вошел юный Генри и остановился у ограды под вязом, оголенным, изломанным грубыми ласками ветра.

– Ты подумал, как я тебя просил? – произнес Роберт негромко.

Генри вздрогнул. Ему казалось, что человек, который опустился на колени, словно поклоняясь земле, не мог заметить его присутствия, хотя пришел он для того, чтобы быть замеченным.

– Да, отец, – ответил он. – Как я мог не думать?

– И понял, что не можешь никуда уехать. Ты останешься?

– Нет, отец, остаться я не могу. – Печаль отца опечалила его, но жажда странствий стала только еще сильнее.

– Но на Вершину поговорить с Мерлином ты пойдешь? – умоляюще сказал Роберт. – И будешь слушать его внимательно.

– Сейчас и пойду.

– Генри, день же почти на исходе, а дорога туда неблизкая. Погоди до завтра.

– Завтра я должен уйти, отец.

Руки Старого Роберта медленно опустились, ладони с полусогнутыми пальцами легли на черную землю у корней розового куста.

III

Юный Генри скоро свернул с проезжей дороги на крутую тропу, которая взбиралась к Вершине и уводила дальше, в самое сердце диких гор. Снизу было хорошо видно, как она петляет, прежде чем нырнуть в глубокую расселину. На самом высоком месте, откуда тропа убегала вниз, жил Мерлин – Мерлин, которого деревенские мальчишки, когда он изредка спускался в селение, осыпали бы насмешками и камнями, если бы думали, что он стар и беззащитен. Но Мерлин сумел окружить себя ореолом всяческих легенд. Кто не знал, что тилет-тег покорствуют ему и приносят вести от него и к нему на беззвучных крыльях?! Дети шепотом предупреждали друг друга, что он водит дружбу с пятнистыми хорьками, и те отомстят за него, если он пожелает. И еще у него жила красноухая собака! Было чего бояться. Да уж, детям, которые не знают всех спасительных заклинаний, никак не следовало задевать Мерлина.

Некогда Мерлин был чудесным поэтом, рассказывали старики, и мог бы стать великим. И в доказательство они начинали тихонько напевать «Печаль Плеята» или «Песнь копья». Не раз он получал главный приз на состязаниях певцов и был бы провозглашен Первым Бардом, если бы соперником его не был отпрыск дома Рисов. Тогда по неведомой причине Мерлин, еще совсем юноша, заточил свою песнь в каменном доме на Вершине и держал ее там, как в темнице, а сам старел, старел, старел, и те, кто некогда пел его песни, забыли их или умерли. Дом на Вершине был круглым, точно низкая серая башня, с окнами, смотревшими и в долину, и на горы. Одни говорили, что построил его много веков назад осажденный врагами великан, чтобы укрывать там своих девственниц – пока они ими оставались. Другие уверяли, что туда после битвы при Гастингсе бежал король Гарольд и до конца своих дней вглядывался единственным глазом в долину, не покажется ли там передовой норманнский отряд.

Теперь Мерлин был уже очень стар, волосы и длинная ниспадающая на грудь борода стали белыми и мягкими, как весенние облака. Он походил на древнего друида, жреца, чьи ясные зоркие глаза привыкли наблюдать звезды.

Чем выше поднимался юный Генри, тем уже становилась тропа. По одну ее сторону вздымалась каменная стена, лезвием ножа врезаась в небо. Трещины и выступы на ней слагались в неясные очертания, словно это был скальный храм древнего бесформенного бога, которому поклонялись обезьяны.

Сначала он видел траву, кусты, а кое-где и искривленные мужественные деревца, но выше все живое погибло, не вынеся каменного одиночества. Далеко внизу дома и хозяйственные постройки казались скоплением кормящихся жуков, а долина съежилась, замкнулась сама в себе.

Тут к тропе и с другой стороны подступила гора, оставив над головой только узкую полоску неба в неизмеримой высоте. Из небесной синевы водопадом рушился яростный ветер и с воем уносился в долину. А камни вокруг становились все больше, все чернее и страшнее – готовые к прыжку хранители тропы.

Генри ровным шагом шел и шел вверх. Что такого может сказать ему старый Мерлин? Или подарить? Втирание, делающее кожу такой твердой, что ее не пробьет никакая стрела? Могущественный талисман? Заклинание от легионов малых слуг дьявола? Нет, Мерлин будет только говорить, а он, Генри, должен будет слушать. И то, что Мерлин скажет, может излечить его от неутолимого голода, навсегда удержать здесь, в Камбрии. Только этого не будет! Ведь его призывают и манят неведомые силы, безымянные призраки далеких земель по ту сторону таинственного моря.

Его не вело стремление добиться чего-то, стать кем-то, воображение не рисовало ему картин того, что произойдет, когда он последует неумолчному зову. Нет, он подчинялся лишь жгучему, необоримому желанию пуститься в путь, вперед и вперед, за самой первой загоревшейся в небе звездой.

Тропа вырвалась на каменную вершину, выпуклую, как верх шапки. На самой макушке ее стоял низкий каменный дом Мерлина, сложенный из нетесаных камней, с конической крышей, похожей на колпачок для гашения свечей.

Старик открыл ему дверь, прежде чем он успел постучать.

– Я Генри Морган, сэр, и я ухожу отсюда, отправляюсь в Индию.

– Ах так? Но, быть может, ты войдешь рассказать мне об этом? – Голос был чистый, негромкий и чудесный, как юный ветер, воркующий в весеннем яблоневом саду. В нем звучала напевная музыка, тихая мелодия, которую мурлычет мастер-ремесленник, склоняясь над работой. А в самой глубине то ли слышался, то ли чудился звон дрожащих струн арфы, которых чуть коснулись умелые пальцы.

Единственную комнату устлали черные ковры, а на стене висели арфы и наконечники копий – маленькие уэльские арфы и большие бронзовые наконечники от копий древних британцев, плоские, как листья. Висели на нетесаных камнях. Под ними кольцом располагались всевидящие окна, выходившие на три долины и могучую семью гор. А еще ниже комнату опоясывала единственная скамья. Посередине стоял стол, заваленный растрепанными книгами, а рядом – медная жаровня на греческом треножнике из черного железа.

Едва Генри вошел, как в него ткнулся мордой огромный пес, и юноша попятился в испуге. Ведь под голубым куполом небес нет ничего смертоноснее даже мимолетного внимания краснотухой собаки.

– Ты собрался в Индию. Сядь сюда, мальчик. Видишь? Отсюда ты можешь следить за родной долиной, чтобы она не улетела на Авалон.

Арфы откликнулись на его голос еле слышным звоном.

– Отец велел мне подняться сюда, сказать вам о том, что я уезжаю, и выслушать вас. Отец думает, что ваши речи могут удержать меня здесь.

– Ты собрался в Индию, – повторил Мерлин. – А простился ли ты с Элизабет, не поспившись на обещания, чтобы потом сердце у нее трепетало и дыхание прерывалось при мысли о подарках, какие ты ей обязательно привезешь?

Генри густо покраснел.

– Кто вам сказал, будто я думаю об этой девчонке? – крикнул он. – Кто говорит, будто я за ней бегаю?

– Что-то нашептал ветер, – ответил Мерлин. – И твои щеки говорят, и немало. Твой крик тоже добавил свое слово. Мне кажется, тебе следовало бы пойти к Элизабет, а не ко мне. Твой отец мог бы выбрать средство мудрее! – Голос замер, а когда зазвучал вновь, в нем появилась грустная настойчивость. – Должен ли ты покинуть отца, мальчик? Ведь он совсем один в долине, где все не такие, как он. Да, мне кажется, уехать ты должен. Планы, которые строят мальчишки, серьезны и нерушимы. Так что же я могу сказать, чтобы удержать тебя здесь, юный Генри? Твой отец задал мне трудную задачу. Некогда я плавал на высоком испанском корабле. Тысячу лет назад... а может быть, и больше, или же не плавал вовсе, и мне это лишь пригре-

зилось. В конце концов мы добрались до этих твоих зеленых Индий, и они были прекрасны, но неизменны. Все времена года сливаются там в зеленое однообразие. Если ты отправишься туда, год перестанет существовать для тебя, ты должен будешь забыть судорогу беспросветного зимнего ужаса, когда мнится, будто наш мир нарушил верность солнцу, умчался в пустыню пространства и больше уже никогда не наступит весна. Ты должен будешь забыть взрыв безумного волнения, когда солнце начинает восходить все раньше, и на тебя теплой волной накатывается радость, и ты не в силах вздохнуть от ликующего восторга. А там никаких перемен нет. Ни малейших. Прошлое и будущее сливаются в одно гнусное, окаменелое настоящее.

– Но тут ведь никаких перемен нет! – перебил юный Генри. – Год за годом созревает зерно и коровы облизывают новорожденных телят, год за годом колют свиней и коптят окорока. Да, конечно, весна-то приходит, но ничто не меняется.

– Справедливо, слепой мальчишка... и я вижу, что говорим мы о разном...

Мерлин обвел взглядом кольцо окон – долины, горы, – и в его глазах горела великая любовь к этому краю. Но когда он обернулся к юноше, лицо его выражало страдание, голос стал напевным.

– Я попробую воззвать к тебе от имени милой Камбрии, где время нагромоздилось огромной осыпающейся горой на самые древние дни! – вскричал он с неистовым чувством. – Или ты утратил любовь к непокоренной Камбрии, если покидаешь ее, хотя кровь тысяч твоих предков пропитала здесь всю землю, дабы Камбрия во веки веков оставалась Камбрией? Или ты забыл, что род твой восходит к троянцам? Но, впрочем, и они стали скитальцами, когда пал Пергам, не так ли?

– Любви я не утратил, сэр, – сказал Генри. – Но моя мечта лежит за морем, которого я не знаю. А Камбрию я знаю.

– Но, мальчик, здесь ведь жил великий Артур, тот, кто вознес свои знамена над Римом и бессмертным уплыл на светлый Авалон. И сам Авалон лежит у наших берегов, там – за утонувшими городами – он вечно плывет по волнам. И неужели, Генри, они не зывали к тебе – призраки всех этих благородных, доблестных, воинственных, никчемных мужей? Ллеу Лло Гиффса, и Беленеса, и Артура, и Кадвалло, и Брута? Они странствуют по стране, как туманы, и хранят ее с высоты. В Индиях нет призраков и нет тилет-тег. В наших черных диких горах скрыты миллионы тайн. Нашел ли ты трон Артура? Постиг ли смысл каменных колец? Внимал ли ты победоносным голосам в ночи? Слышал ли ревущие рога охотников за душами, лай их голубой своры, когда они врываются в селения на крыльях бури?

– Их я слышал, – сказал Генри, содрогаясь. Он робко покосился на собаку, уснувшую у стола, и продолжал, понизив голос: – Священник говорит, что все это неправда. Он говорит, что «Красная книга Хергеста» – это сказочки для малых детей, усевшихся вечером у горящего очага, а мужчинам и большим мальчикам стыдно в них верить. Он говорил нам в церковной школе, что все это лживые выдумки и противухристианские. Артур был мелким племенным вождем, говорит он, а Мерлин, чье имя ты носишь, всего лишь плод воспаленного мозга Гальфрида Монмутского. Он говорит плохо даже о тилет-тег, и о кладбищенских огнях, и о таких, как его честь ваш пес.

– О, глупец! – с омерзением воскликнул Мерлин. – Лишь глупец способен сокрушать то, о чем говорил я. А взамен предлагает историю, преподнесенную миру двенадцатью соавторами, чьи понятия кое в чем оставляли желать лучшего. Зачем тебе уезжать, юноша? Неужели ты не видишь, что враги Камбрии теперь пускают в ход не мечи, но языки, подобные раздвоенным жалам? – Арфы пропели его вопрос, замерли последние отзвуки, и в круглом доме наступила тишина.

Генри, сдвинув брови, уставился в пол. Потом сказал:

– Слишком уж много тревог из-за меня, Мерлин. А я ничего толком объяснить не могу. Ведь я вернусь. Конечно, вернусь, едва жажда нового перестанет меня жечь. Но разве ты не

видишь, что уехать я должен, потому что рассечен пополам и здесь – только часть меня? Вторая половина за морями и зовет, зовет меня, чтобы я приехал туда и стал целым. Я люблю Камбрию и вернусь, когда опять буду целым.

Мерлин внимательно всмотрелся в лицо юноши и грустно перевел взгляд на арфы.

– Мне кажется, я понимаю, – сказал он мягко, – ты просто маленький мальчик и хочешь луну, чтобы пить из нее, как из золотой чаши. А потому вполне возможно, что ты будешь великим человеком... если, конечно, останешься ребенком. Все великие мира сего были маленькие мальчики, которые хотели взять луну себе, гнались за ней, взбирались все выше и иной раз ловили светляка. Если же мальчик мужает и обретает взрослый ум, то он понимает, что схватить луну не может, а и мог бы, так не захотел бы. И поэтому не поймает и светляка.

– А сами вы никогда не хотели взять луну себе? – спросил Генри, и в тихой комнате его голос был еле слышен.

– Хотел. Превыше всех других желаний была она для меня. Я протянул к ней руки, и тогда... тогда я стал взрослым – и неудачником. Но неудачника ждет одно благо: люди знают, что он потерпел неудачу, жалеют его, добры к нему. С ним – весь мир, ему даруется живая связь с ближними и плащ посредственности. Но тот, кто прячет в ладонях светляка, которого схватил вместо луны, одинок вдвойне: ему остается только постигать всю глубину своей неудачи, все свое ничтожество, страхи, самообманы. Ты обретешь свое величие и со временем, несомненно, окажешься одинок в нем: нигде ни единого друга, а лишь те, кто почитает тебя, или боится, или склоняется пред тобой. Я жалею тебя, мальчик с честным ясным взором, жадно устремленным ввысь. Я жалею тебя и – Мать-Небо – как я тебе завидую!

В ущелья заползали сумерки, наполняя их лиловой мглой. Солнце поранилось о зазубренный гребень и залило долины своей кровью. Длинные тени гор прокрадывались в поля все дальше, точно серые кошки, подбирающиеся к добыче. Тишину нарушил легкий смешок Мерлина.

– Не задумывайся о моих словах, – сказал старик. – Я ведь и сам не слишком в них уверен. Грезы можно опознать по тому их свойству, которое мы называем непоследовательностью. Но как определить молнию?

Ночная тьма подступала все ближе, и Генри вскочил.

– Мне пора идти, уже смерклось!

– Да, тебе пора идти, но не размышляй над моими словами. Быть может, я просто хотел поразить тебя. Старости нужна безмолвная лесть, потому что высказанной вслух она более не доверяет. Помни только, что Мерлин говорил с тобой. И если где-нибудь тебе встретятся уэльсцы, которые поют мои песни, сложенные давным-давно, скажи им, что видел меня, что я нездешнее чудесное существо с голубыми крыльями. Я не хочу быть забытым, Генри. Ведь для старика быть забытым страшнее смерти.

Генри сказал:

– Мне пора. Уже совсем темно. Благодарю вас, сэр, что вы мне все это сказали, но, видите ли, я должен уехать в Индии.

Мерлин тихонько засмеялся:

– Ну, конечно, должен, Генри. И непременно поймай светляка побольше. Прощай, дитя!

Генри оглянулся один раз, когда черный силуэт дома начал уходить за отрог. Но в окнах не мерцал огонь. Старый Мерлин сидел там и с мольбой взывал к своим арфам, а они насмешливо втирали ему.

Юноша быстрее зашагал вниз по тропе. Долина впереди была темным озером, и огоньки ферм казались отражениями звезд в его глубине. Ветер замер, и в горах стояла вязкая тишина. Всюду кружили печальные беззвучные призраки. Здесь были их владения. Генри ступал осторожно, не отводя глаз от тропы, которая голубоватой лентой вела его вниз.

IV

Шагая по темной тропе, Генри вдруг вспомнил, что сказал ему Мерлин в самом начале. Так не повидать ли ему Элизабет перед уходом? Она ему вовсе не нравилась. Порой он даже ощущал, что в нем растёт ненависть к ней. И эту ненависть он нянчил и подогревал, а она все больше преображалась в желание увидеть Элизабет.

Она была тайной. Все девушки и женщины ревниво оберегали что-то, о чем никогда вслух не говорили. Его мать, как зеницу ока, хранила секреты теста для лепешек и порой плакала по неизвестным причинам. Под внешней оболочкой женщин – некоторых женщин – параллельно их внешней жизни шла другая, внутренняя, и эти две жизни никогда не пересекались.

Всего год назад Элизабет была хорошенькой девочкой и, увидев его, принималась перешептываться с подружками, хихикать, дергать их за волосы, а потом внезапно стала совсем другой. Никакой зримой перемены Генри обнаружить не мог, но ему чудилось, что она обрела способность понимать – глубоко и безмятежно. Его пугала эта мудрость, которая вдруг снизошла на Элизабет.

И ее тело... Не такое, как у него, обладающее властью (об этом говорилось еле слышным шепотом) дарить неведомое блаженство, творить темное волшебство. Но даже это расцветшее тело она окружала тайной. Прошло время, когда они вместе беззаботно ходили на речку купаться. Теперь Элизабет старательно укрывала себя от него, словно ее преследовала неотвязная мысль, что вдруг он увидит... Это новое в ней пугало и смущало Генри.

Порой она ему снилась, и он просыпался в холодном поту – вдруг она узнает про его сон. А иногда ему в ночи являлся смутный образ, в котором странно сочетались Элизабет и его мать. После такого сна его весь день томило отвращение к себе и к ней. Себя он видел противоестественным чудовищем, а ее суккубом во плоти. И он не мог никому рассказать про это. Все отвернулись бы от него, как от прокаженного.

Но, может быть, все-таки увидиться с ней напоследок? Этот год облек ее странным могуществом – притягательным и отталкивающим, и его воля трепетала, как тростник на ветру. Быть может, другие мальчики и правда навещали ее по вечерам и целовали, успев заранее этим похвастать, но другие мальчики не видели ее во сне, как он, не думали о ней с невыразимым отвращением, как порой думал он. Да, есть в нем что-то противоестественное, раз он неспособен отличить желание от омерзения. И ведь ей так легко заставить его смутиться и оробеть!

Нет, он к ней ни за что не пойдет! Да с какой стати Мерлин – ну, пусть не Мерлин, а кто угодно еще – вдруг вообразил, будто она для него что-то значит, эта дочка нищего батрака? Она же не стоит того, чтобы о ней думать!

За его спиной послышались шаги, гулко отдававшиеся в ночной тиши. Кто-то нагонял его, и вскоре с ним поравнялась юркая худая фигура.

– Это ведь ты, Уильям? – вежливо спросил Генри.

– Он самый, – ответил тот и переложил кирку с одного плеча на другое. Его дело было чинить дороги. – А ты-то что делаешь тут ночью?

– Я был у Мерлина. Слушал, что он говорил.

– Чума его приberi! Он теперь только и умеет, что языком болтать. А ведь раньше песни слагал, хорошие песни, душевные. Ты бы сам то же сказал, спой я тебе хоть одну, да что-то не хочется. А теперь сидит он на Вершине, как старый облезлый орел. Проходил я как-то мимо, ну и заговорил с ним – ты хоть у него спроси. Я ведь не из тех, кто свои мысли при себе держит. «Почему ты больше не слагаешь песен? – так я ему сказал, этими самыми словами. – Почему, – говорю, – ты больше не слагаешь песен?» А он говорит: «Я вырос и стал взрослым, – говорит. – А во взрослых сердцах песен нет. Только дети слагают песни. Только дети и полоумные». Чума

его прибере! Сам он полоумный и есть, так по мне выходит. А тебе он что наговорил, козел седобородый?

– Видишь ли, я уезжаю в Индии...

– В Индии? Ты, что ли? Ну-ну! Я вот в Лондоне побывал. И все там в Лондоне вор на воре. Один держит доску, а на ней махонькие плашки. «Попробуй свое искусство, друг! – говорит. – На какой плашке снизу черная метка?» «Вот на этой», – говорю. Так оно и вышло. Зато уж потом... Он ведь тоже вор был. Все они там воры. Им там в Лондоне только и дела, что разъезжать в каретах – туда-сюда, туда-сюда, туда по одной улице, а обратно по другой. Да еще раскланиваются друг с другом, пока достойные люди в поте лица трудятся в полях и в рудниках, чтоб они там могли раскланиваться между собой. А мне что остается или, к примеру, тебе, если все теплые местечки позанимали разбойники. А знаешь ты, какую разбойничью цену заламывают в Лондоне за одно яйцо?

– Мне сюда сворачивать, – сказал Генри. – Я тороплюсь домой.

– Индии! – Уильям тоскливо вздохнул и сплюнул в траву. – Да что уж! Голову прозакладываю, все они там воры и разбойники.

Когда Генри наконец добрался до бедной хижины, где жила Элизабет, мрак стал совсем непроницаемым. Он знал, что в очаге посреди комнаты горит огонь и дым стелется под потолком, ища выхода наружу, через небольшую дыру в кровле. Настоящего пола там нет – только утрамбованная земля и очаг. Отходя ко сну, семья закутывалась в овчины и ложилась вокруг очага ногами к нему.

Окна без стекол не были даже занавешены, и Генри видел то старого Туима с густыми черными бровями, то его худую издерганную жену. Он ждал, пока в окне не мелькнула Элизабет, а тогда свистнул, как ночная птица. Девушка подошла к окну и выглянула наружу, но Генри стоял в темноте неподвижно. Тогда Элизабет открыла дверь и встала на пороге, освещенная сзади отблесками огня. Генри увидел сквозь платье черный абрис ее фигуры. Он увидел изящный изгиб ее ног и округлость бедер. Им овладел безумный стыд – и за себя, и за нее. Без единой мысли в голове он вдруг кинулся назад сквозь тьму, задышавшись и борясь с рыданиями.

V

Услышав, что Генри вошел в комнату, Старый Роберт с надеждой поднял голову, но надежда тут же угасла, и он быстро отвернулся к огню. Матушка Морган вскочила и сердито встала перед юношей.

– Это что еще за глупости? – спросила она грозно. – В какие-такие Индии ты собрался?

– Матушка, я должен уехать. Правда должен. И отец меня понимает. Как ты не слышишь, что Индии зовут меня!

– А вот так. И грех говорить такие глупости. Ты еще младенец несмышленный, и тебя нельзя за порог одного выпустить. Отец запретит тебе и думать об этом.

Упрямый подбородок юноши стал гранитным, на скулах вздулись желваки. Глаза полыхали гневом.

– Если ты не понимаешь, матушка, я скажу тебе одно: завтра я уйду и не посмотрю ни на кого из вас!

Оскорбленная гордость смела изумление с ее лица и тут же исчезла, уступив место неизбывной боли. Она не знала, куда бежать от неожиданной муки. А Генри, едва увидев, что натворили его слова, кинулся к ней.

– Прости, матушка, я не хотел... Прости. Но почему ты не можешь отпустить меня, как отпустил отец? Я не хочу делать тебе больно, и все-таки я должен уехать. Пойми же!

Он обнял ее, но она отвернулась. Ее слепой взгляд был устремлен в никуда.

Она была так уверена в своей правоте! Всю свою жизнь она оскорбляла, понуждала, бранила своих близких, а они понимали, что ее тиранию рождает любовь к ним. Но теперь, когда один из них, маленький мальчик, заговорил с ней ее собственным привычным тоном, рана, нанесенная ей, была столь глубока, что зажить совсем уже вряд ли могла.

– Ты говорил с Мерлином? Что он сказал тебе? – спросил Роберт со своего места у очага. Мысли Генри метнулись к Элизабет.

– Он говорил про то, во что я не верю, – ответил он.

– Что же, это была только соломинка, – пробормотал Роберт. – Ты нанес своей матери беспощадный удар, – продолжал он. – Я еще никогда не видел ее такой... такой притихшей. – Затем Роберт распрямил плечи и заговорил твердым голосом: – Я приготовил для тебя пять фунтов, мой сын. Деньги небольшие. Может быть, мне удалось бы наскрести еще, но такую малость, которая ничего не изменила бы. А вот рекомендательное письмо к моему брату, сэру Эдварду. Он уехал еще до злодейского убийства короля, и почему-то – возможно, потому, что вел он себя тихо, – старый Кромвель его не отозвал. Если он окажется на Ямайке, когда ты туда доберешься, можешь вручить ему мое письмо. Но он замкнутый, холодный человек и очень гордится знатными знакомствами, так что бедного родственника вряд ли встретит с распростертыми объятиями. Вот почему я не уверен, что это письмо тебе поможет. Он тебя невзлюбит. Разве что ты умудришься не заметить ничего смешного в человеке, который очень похож на меня, но чванно разгуливает с серебряной шпагой и с перьями на шляпе. Я вот не выдержал, засмеялся, и с той минуты он перестал быть моим братом. Письмо, однако, побереги: оно может сослужить тебе службу с другими людьми.

Он поглядел на жену, скорчившуюся в темном углу.

– Мать, а ужинать мы сегодня не будем?

Она как будто не услышала, и Роберт сам поставил еду на стол.

Страшно терять сына, ради которого ты только и жила. Почему-то она никогда не сомневалась, что он всегда будет подле нее – маленький мальчик, и всегда подле нее. Она старалась нарисовать себе будущее без Генри, но эта мысль разбилась о серую стену худосочного воображения. Какая неблагодарность – бежать от нее, внушала она себе, как жестоко он поступил с ней... Но сразу же ее сознание мячиком отлетало назад. Генри – ее малютка сынок и потому не может быть ни бесчувственным, ни подлым. Неизвестно как, но эти пустые слова, эта боль обязательно исчезнут, и он по-прежнему будет подле нее, восхитительно бестолковый и послушный.

Ее рассудок всегда был бритвой реальности, ее воображение всегда ограничивалось переносом настоящего в ближайшее будущее, но теперь они блаженно унеслись к малютке, который учился ползать, учился ходить, учился лепетать первые слова. И она уже забыла, что он решил уйти, так заворожили ее эти грезы о серебряном прошлом.

Крестили его в длинной батистовой рубашечке. Вся святая вода, которой его окропили, собралась в одну каплю и скатилась по курносому носишке, а она в своей страсти к порядку тотчас вытерла ее носовым платком и тут же подумала, не придется ли теперь окрестить его еще раз. Молодой священник потел и давился словами молитвы. Но что с него было взять? Совсем зеленый, да к тому же из местных. Да, слишком зелен для столь важного обряда. Вдруг таинство не свершится? Перепутает слова или допустит еще какие-нибудь нарушения... Но тут она обнаружила, что Роберт опять застегнул камзол кое-как. Хоть кол ему на голове теши, никогда не вденет пуговицу в нужную петлю. Вот и кажется кривобоким! Надо подойти к Роберту и шепнуть ему про камзол, пока люди в церкви ничего не заметили. Такие мелочи и рожают всякие сплетни! Но если она отойдет, глупый недотепа-священник того и гляди уронит младенца...

Они кончили ужинать, и дряхлая Гвенлиана, с трудом поднявшись из-за стола, прошаркала к своему креслу у огня, чтобы потихоньку вновь ускользнуть в приветливое будущее.

– Когда ты думаешь отправиться? Утром? – спросил Роберт.

– Пожалуй, часов в семь, отец. – Генри попытался придать своему тону будничность.

Старуха остановилась и внимательно на него поглядела.

– Куда это Генри отправляется? – спросила она.

– Как? Разве ты не знаешь? Генри утром покинет нас. Он отправляется в Индии.

– И не вернется? – Голос ее стал тревожным.

– Во всяком случае, не скоро. Путь туда долгий.

– Ну так я должна открыть ему будущее. Да-да, открыть, как чистые страницы книги! – воскликнула она в приятном предвкушении. – Я должна рассказать ему про будущее, про то, что оно таит в себе. Дай-ка я погляжу на тебя, мальчик!

Генри подошел и сел у ее ног, и она начала свою речь. Поистине, древний кумрийский язык таит в себе волшебство. Он был создан для пророчеств.

– Знай я об этом раньше, – сказала Гвенлиана, – так приготовила бы лопатку свежезарезанной овцы. Гадание по ней куда древнее и куда надежнее простых предсказаний. Но с тех пор как я состарилась, согнулась и обезножела, мне уже не под силу выходить на дорогу к духам, что скитаются там. А много ли узнаешь, если не можешь ходить среди духов и подслушивать их мысли? Но я расскажу тебе всю твою жизнь, внучек, и открою будущее, лучше которого еще не предсказывала.

Она откинулась в кресле и закрыла глаза. Но внимательный взгляд обнаружил бы, что они поблескивают между сощуренными веками и не отрываются от окаменевшего лица юноши. Долгое время сидела она в трансе, словно ее старый мозг расчесывал колтуны прошлого, чтобы грядущее легло прямыми прядями, доступными для воплощения в слова. Наконец она снова заговорила, но голосом хриплым, напевным, предназначенным для грозных тайн:

– Это сказанье Абрета тех времен, когда земля и вода сошлись в поединке. И от их столкновения родилась крохотная слабенькая жизнь и устремилась вверх по кругам туда, где пребывает Гвинфид, блистающая Чистота. В этой первой слепо блуждающей плоти запечатлена история мира, его странствований в бездонной Пустоте. И ты... сколько раз Аннун разевал зубастую пасть, чтобы схватить щепотку жизни, которую ты хранишь в себе, но тебе удавалось избегать его ловушек. Тысячу веков прожил ты с тех пор, как земля и море схватились, сотворяя тебя, и тысячу тысяч веков суждено тебе хранить дарованную тебе щепотку жизни, которую лишь ты оберегаешь от Аннуна, извечного Хаоса.

Этим зачином она предваряла все свои пророчества, с тех самых пор, когда переняла его от странствующего барда, который в свой черед получил его от длинной вереницы бардов, восходящей к белым друидам. Гвенлиана помолчала, давая своим словам время утвердиться в мозгу юноши, а затем продолжала:

– А это сказание о нынешних твоих скитаниях. Ты станешь великим светочем Божественного, будешь учить Божьим веленьям... – Ее прищуренные глаза разглядели, как разочарованно вытянулось лицо юноши, и она торопливо воскликнула: – Но погоди! Я заглянула слишком далеко вперед. Раньше будут битвы, кровопролития, и первой твоей невестой станет меч! (Генри вспыхнул от радости.) Один лишь звук твоего имени будет боевым зовом, на который соберутся лучшие воины мира. Ты будешь сокрушать города неверных, отнимать у них награбленную добычу. Ужас будет лететь впереди тебя, точно клекочущий орел над боевыми щитами.

Она убедилась, что эти ее предсказания падают на благодарную почву, но поспешила перейти к еще более славным свершениям:

– Твоей будет власть над островами и материками, и ты принесешь им мир и закон. И вот, когда наконец окружают тебя почести и слава, ты сочетаешься браком с голубицей великой

знатности, с дочерью достойных и богатых родителей, – заключила она, открыла глаза и обвела всех взглядом в ожидании похвал.

– Будь у меня овечья лопатка, – добавила она жалобно, – я сказала бы куда больше. И если бы нашлись у меня силы выйти на дорогу... Но старость отнимает у нас малые радости и оставляет одно лишь холодное, тихое ожидание.

– Нет, матушка, это было чудесное пророчество, – сказал Старый Роберт. – Самое лучшее, какое я от тебя слышал. Ты ведь только-только достигла вершин своей тайной силы. И ты рассеяла мой страх за Генри, успокоила мое сердце. Теперь я испытываю только гордость при мысли, кем станет мой сын. Хотя и предпочел бы, чтобы он не убивал людей.

– Ну что же... Если, по-твоему, пророчество и вправду было хорошим... – радостно сказала Гвенлиана. – Да, мне чудилось, что воздух нынче благоприятен, и глаза мои видят ясно. Только с овечьей лопаткой было бы еще лучше! – Она удовлетворенно сомкнула веки и погрузилась в дремоту.

VI

Всю ночь Старый Роберт беспокойно ворочался с боку на бок, а его жена лежала рядом в каменной неподвижности; когда мрак за окном начал сменяться посеребренной мглой, она осторожно встала с постели.

– Как? Ты не спала, мать? Но куда ты идешь?

– К Генри. Я должна поговорить с ним. Может, меня он послушается.

Но через мгновение она вернулась и припала лицом к плечу Роберта.

– Генри ушел, – сказала она, и по ее телу пробежала судорога.

– Ушел? Но как он мог? Вот первый его трусливый поступок, мать. Ему стало страшно попрощаться с нами. Но я не сожалею о его страхе, ведь это верный знак его печали. Он не выдержал бы, если бы его чувства облеклись в слова.

Он был поражен ее холодным молчанием.

– Пойми же, мать, это значит, что он вернется к нам. Немного погодя, но обязательно. Клянусь тебе. Неужели ты сомневаешься? Он ушел на несколько дней, от силы – на несколько недель. Поверь мне, милая! Просто годы повернули вспять, и мы с тобой теперь – как тогда. Ты помнишь? Но только ближе, гораздо ближе из-за всего, что с тех пор произошло. Мы с тобой ведь очень богаты безыскусными картинками прошлого, нам осталось все то, чем он играл. И лишиться этого мы не можем, пока живы.

Она не заплакала, не вздрогнула – казалось, она не дышит.

– Жена моя, Элизабет!.. Ты ведь веришь, что он скоро вернется... очень скоро... Даже скорее, чем ты успеешь стоскаться по нему. Скажи, что веришь! Скажи! – вскричал он в отчаянии. – Очнись! Заговори! Когда настанет весна, он уже будет с нами. Ты должна в это верить, милая... моя милая... – И он легко-легко погладил нежными неуклюжими пальцами неподвижную щеку у себя на плече.

VII

Генри крадучись вышел из дома, чуть побелел восточный край неба, и бодро зашагал по кардиффской дороге. В сердце у него застыл ледяной комочек испуга, и он спрашивал себя, действительно ли ему так уж хочется куда-то уехать. Задержись он, чтобы попрощаться, нашепывал ему страх, и он не смог бы покинуть каменный дом даже ради Индий.

Небо все больше серело, а он шел вперед мимо лугов, где кувыркался и играл, мимо каменоломни, где была пещера – там они с приятелями упоенно играли в разбойников, и атаманом при общем согласии всегда был Генри – Твимом Шоном Катти.

Впереди четко вырисовывались горы, точно вырезанные из картона, с серебряным ободком по краю. Со склонов веял легкий предрассветный ветерок, свежий, душистый, напоенный пряным запахом влажной земли и палого листа. Лошади на пастбищах, завидев его, тоненько ржали, подходили и ласково тыкались в него мягкими бархатными носами. Стайки птиц, с первым лучом зари принявшихся склевывать припоздавших ночных насекомых, взлетали, перекликаясь возмущенно и обиженно.

Когда взошло солнце, за спиной у Генри расстилались мили дороги, пройденной им впервые. На зазубренную грядку выкатился желтый шар, позолотив полотнища туманов по склонам, и Генри опустил плотный занавес между собой и прошлым. Боль и тоска одиночества, неотступно сопровождавшие его в темноте, были отринуты и остались позади. А впереди ждал Кардифф. Он шел в новые, неведомые края, и где-то чуть ниже утреннего горизонта, казалось ему, сияла во всем своем великолепии зеленая корона Индии.

Он проходил через деревушки, названий которых не знал, и обитатели льнувших друг к другу лачужек глазели на него, как на чужестранца. Сердце юного Генри ликовало. Совсем недавно и он вот так глазел на неизвестных прохожих, пытаясь разгадать пленительную тайну, пославшую их в дорогу. В дорогу – куда? Неизвестность делала их необыкновенными, их цели представлялись неизмеримо важными. И вот теперь он сам такой прохожий! Это о нем размышляют, на него взирают с почтением. Ему хотелось закричать: «Мой путь лежит в Индии!» Пусть их тусклые глаза раскроются пошире и почтение в них возрастет стократно! Бесхребетные дурни. Ни мечты, ни силы воли, чтобы вырваться из этих сырых, замусоренных хижин.

А вокруг все изменилось. Он спускался с гор на безграничную равнину, где пологие волны невысоких холмов становились все более и более плоскими. Он увидел огромные норы, словно вырытые чудовищными сусликами, увидел оборванных черных людей, которые выбирались из них с мешками угля на спине. Высыпав уголь у подножия гигантской кучи, шахтеры с пустыми мешками возвращались в нору. Генри заметил, что и назад они брели сутулясь, словно их продолжало сгибать в дугу тяжелое бремя угля.

Миновал полдень, потянулись длинные ясные дневные часы, а он все шагал и шагал вперед. В воздухе теперь ощущался новый запах – властное пьянящее дыхание моря. Ему казалось, что он мог бы помчаться туда со стремительностью истомленной жаждой лошади. К вечеру вверх по небосводу двинулась армия черных туч. Ударил ветер, пахнуло снегом, и трава распласталась по земле.

Но он продолжал идти, пока ветер не начал швырять ему в лицо колючую ледяную крупу и холод не запустил ему под куртку леденящие пальцы. Там и сям, справа и слева от дороги виднелись дома, но Генри ни в одном не попросил ни приюта, ни ужина. Он не знал здешних обычаев, не знал цен этого края и твердо решил прийти в Кардифф со всеми своими пятью фунтами в кармане.

Наконец, когда его руки совсем посинели, а лицо онемело, он забрался в стоявший на отшибе сарай, полный мягкого сена. Там было тепло и тихо – так тихо, что его уши, измученные воем ветра, будто сразу оглохли. Сено благоухало медом, засохшим в скошенных цветах. Генри зарылся в него поглубже и крепко уснул на этом пуховом ложе.

Очнулся он глубокой ночью, припомнил в полусне, где находится, и тут же к нему, визгливо вопя, подступили мысли, которые он утром прогнал.

«Дурак! – крикнула одна. – Вспомни просторную комнату, и копыта, и яркий огонь! Где они теперь? Уж больше тебе их не видеть! Они исчезли, словно сон, а ты ведь не знаешь, куда исчезают сны! Ты дурак».

«Нет-нет, послушай меня! Вспомни обо мне! Почему ты не подождал Элизабет? Ты испугался? Да, ты испугался. Сестры, этот мальчишка – трус. Он боится белобрысой девчонки, дочери батрака!»

Раздался печальный медлительный голос:

«Вспомни о своей матери, Генри. Она сидела выпрямившись и словно окаменев – вот какой видел ты ее в последний раз. И ты не подошел к ней. Только оглянулся на пороге. Быть может, она и умерла там с той же мукой в глазах. Откуда тебе знать? А Роберт, твой отец... Вспомни, вспомни о нем! Одиноким, грустным, потерявшим все. Это дело твоих рук, Генри! Потому что тебе захотелось в Индии и ты не думал ни о ком, кроме себя».

«А что ты знаешь о будущем? – простонал испуганный голосок. – Будет так холодно, что ты замерзнешь. Или кто-нибудь убьет тебя, позарившись на твои деньги, хоть это и жалкие гроши. Такое случалось много раз. Прежде о тебе кто-то заботился, следил, чтобы тебе было хорошо. Ты умрешь с голоду, ты замерзнешь, тебя убьют. Я знаю, знаю, знаю!»

В вопли его мучителей вплелись звуки темного сарая. Буря унеслась, но по углам с неизбывной тоской бесприютных призраков вздыхали сквозняки, а иногда их вздохи сливались в протяжный стон. Сено шуршало, точно каждый сухой стебелек извивался, стараясь куда-то уползти. В густом мраке под кровлей металась летучие мыши, скрежеща крохотными зубками. Жутко пищали полевки. Злобные глазки летучих мышей и полевок словно впивались в него со всех сторон из непроницаемой мглы.

Ему случалось оставаться одному. Но никогда еще одиночество не бывало таким полным, как в этом незнакомом месте среди совсем новых невидимых угроз. В его груди рос и ширился страх. Время прикинулось ленивым червем, проползало самую чуточку, останавливалось, поводило слепой головой из стороны в сторону и проползало еще чуточку. Казалось, часы проплывают, как медлительные облака, и он лежит тут, содрокаясь от страха, уже целую вечность. В конце концов в сарай залетела сова и закружила над ним с безумным хохотом. Перенапряженные нервы не выдержали, юноша выскочил из сарая и, всхлипывая, бросился бежать по кардиффской дороге.

Глава вторая

Более века Англия нетерпеливо следила, как Испания и Португалия, с благословения римского папы разделив между собой Новый Свет, тщательно оберегают свою собственность от вторжения посторонних. Для Англии, пленницы моря, это было особенно тяжело. Но в конце концов Дрейк на крохотной «Золотой лани» прорвался в запретные моря. Огромные красные корабли Испании презрительно шурились на суденышко Дрейка, как на ничтожную жалящую мушку, назойливое насекомое, которое следует прихлопнуть, чтобы не жужжало. Но когда мушка принялась потрошить их плавучие крепости, сожгла город-другой и даже поймала на перешейке в ловушку караван со священными королевскими сокровищами, им пришлось переменить мнение: нет, это не мушка, а оса, скорпион, гадюка, дракон! Дрейка так и прозвали – Эль Драке, и в Новом Свете зародился страх перед Англией.

Когда Великая Армада потерпела сокрушительное поражение от английских моряков и разъярившегося моря, Испанию обуял ужас перед новой силой, рожденной таким маленьким островом. Как грустно было вспоминать покрытые великолепной резьбой красавцы корабли, которые покоились на дне или разбились вдребезги о прибрежные скалы Ирландского моря.

Англия же запустила руку в Карибское море и утвердила свою власть на кое-каких островах – на Ямайке, на Барбадосе. Теперь английские товары можно было сбывать колониям. Обладание колониями поднимало престиж маленького острова, но что такое колонии без населения? И Англия принялась заселять свои новые владения.

Младшие сыновья дворянских семей, моты, разорившиеся джентльмены уезжали в Индии. Отличный способ избавляться от опасных людей! Королю достаточно было даровать подозрительному человеку земли в Индиях, а затем изъявить желание, чтобы он жил в своем поместье и обрабатывал тамошнюю жирную почву на благо английской короны.

Суда, отправлявшиеся на запад, переполняли колонисты: игроки, мошенники, сводники, пуритане, паписты, – все плыли туда, чтобы владеть землей, и никто – чтобы ее обрабатывать. Португальские и голландские невольничьи корабли, доставлявшие «черное мясо» из Африки, не успевали удовлетворять возрастающую потребность в рабочих руках. Тогда начали забирать преступников из тюрем, бродяг с лондонских улиц, нищих от церковных дверей, где они выстаивали целые дни, а еще заподозренных в колдовстве, или в государственной измене, или в проказе, или в папизме, и всех их отправляли на плантации в кабалу. План был блистательный: плантаторы получали рабочую силу, а корона – деньги за бесплатные тела тех, кого прежде она должна была кормить, одевать и вешать за свой счет. И доход этот можно было еще увеличить. Кое-каким капитанам продавались целые пачки кабальных записей, уже снабженных государственными печатями, но с пропуском вместо имени кабального. Капитанам приказывалось вносить имена с величайшей осмотрительностью.

И пошли выращиваться кофе и апельсины, сахарный тростник и какао, распространяясь с одного острова на другой. Бесспорно, когда срок кабалы истекал, возникали кое-какие трудности, но лондонские трущобы, Бог свидетель, плодили новых рабов в изобилии, а у короля не переводились враги.

Англия с ее губернаторами, дворцами и чиновниками в Новом Свете становилась настоящей морской державой, и из Ливерпуля и Бристоля уходило в плавание все больше торговых кораблей, груженных изделиями ее ремесленников.

I

С первыми лучами дня Генри, оставив ночной ужас далеко позади, добрался до окраины Кардиффа, полный благоговейного изумления. Он и вообразить не мог ничего подобного этому городу, где дома стояли совсем тесно и ни один не был похож на другой. Они слагались в бесчисленные ряды и растягивались до бесконечности, словно армейская колонна, марширующая по непролазной грязи. Конечно, он слышал, как люди рассказывали про города, но ему и в голову не приходило, какие они громадные.

В лавках открывались ставни, в окнах выставлялись товары, и Генри заглядывал в каждое широко открытыми глазами. Он шел и шел по длинной улице, пока наконец не оказался в порту, где повсюду, точно пшеница в полях, поднимались мачты в облаках парусов и паутине бурых канатов, словно бы натянутых как попало в отчаянной спешке. На одних корабли тащили с берега тюки, бочонки, ободранные туши, а другие извергали из своих пузатых корпусов ящики странной заморской выделки и рогожные мешки. В порту царила неистовая суматоха, и Генри почувствовал то праздничное волнение, которое охватывало его, когда в долине ставились ярмарочные палатки.

С поднимавшего якорь корабля донеслась громкая песня, и каждое слово чужого языка казалось удивительно четким и прекрасным. Волны, пошлепывающие гладкие борта, вызвали в нем радость, схожую с болью. Он словно бы пришел домой, в любимое заветное место после долгих дней и ночей горячечного бреда. На отплывающем барке уже гремел дружный хор, бурый якорь повис над водой, на реях развернулись паруса, поймали утренний бриз, и барк, отойдя от пристани, заскользил по заливу.

А Генри пошел дальше, туда, где килевали корабли. Наклоненные днища покрывала густая бахрома водорослей и ракушек, которыми они обросли в разных морях и океанах. Дробно стучали инструменты конопатчиков, скрежетало железо по дереву, отрывистые команды обретали оглушительность благодаря рупорам.

Солнце поднялось высоко, и Генри почувствовал, что очень голоден. Он неохотно побрел назад в город поискать, где бы позавтракать, хотя и предпочел бы не покидать порт ни на минуту. А из своих берлог уже выбрались вербовщики и шулеры, обирающие моряков. Порой мимо прокрадывалась растрепанная, заспанная женщина, точно стараясь прошмыгнуть домой так, чтобы ее не заметило солнце. Матросы, гулявшие на берегу, протирали опухшие глаза и, привалившись к какой-нибудь стене, взглядывали на небо, прикидывая, какая будет погода. «Чего только они не насмотрелись в своих плаваниях», – думал Генри. Он прижался к ограде, пропуская вереницу подвод и фургонов с тюками и ящиками, которая направлялась в порт, и почти сразу же вновь отпрянул в сторону от встречной вереницы, которая везла заморские товары из порта.

Наконец он увидел харчевню, куда входили люди. Называлась она «Три собаки», и они все трое красовались на вывеске, хотя больше походили на испуганных одnogорбых верблюдов. Генри переступил порог и увидел большую залу, полную народа. У толстяка в фартуке он спросил, нельзя ли тут позавтракать.

– А деньги у тебя есть? – подозрительно спросил хозяин.

Генри подставил зажатую в руке золотую монету под солнечный луч, и, узрев этот всевластный знак, фартук с поклоном увлек его за локоть к столу. Генри заказал завтрак и, не садясь, оглядел залу. Посетителей было много: одни расположились за длинными столами, другие прислонились к стенам, а некоторые так даже устроились на полу. Между ними сновала маленькая служанка, держа поднос со спиртными напитками. Тут были итальянцы с генуэзских и венецианских кораблей, которые привезли дерево драгоценных пород и пряности, доставленные в Византию на верблюдах с берегов Индийского океана. И французы с судов,

возивших вина из Кале и Бордо, – в их компании попадались широкоскулые голубоглазые баски. А рядом сидели шведы, датчане и финны с китобойных судов, промышлявших в северных водах, – чумазы, пропахшие ворванью. За столами сидели и жестокие голландцы, богатевшие на торговле рабами, которых везли из Гвинеи в Бразилию. Среди этих иностранцев кое-где смущенно жались уэльские фермеры, испуганно ощущая свое здесь одиночество. Они пригнали овец и свиней для пополнения корабельных припасов, а теперь торопливо насыщались, чтобы добраться домой засветло, и набирались храбрости, поглядывая на троих моряков с военного корабля, которые болтали между собой у двери.

Волшебный гул голосов заворожил юного Генри. Он слышал непонятную речь, кругом было столько нового! Кольца в ушах гемуэзцев, короткие, как кинжалы, шпаги голландцев, лица всех оттенков от багрово-красного до коричневого, как дубленая кожа. Он мог бы просто стоять так весь день, не замечая движения времени.

На его локоть легла могучая ладонь в перчатке из мозолей, и Генри увидел перед собой бесхитростную физиономию матроса-ирландца.

– Не присядешь ли тут, парень, рядышком с честным моряком из Корка по имени Тим? – При этих словах он сильным толчком сдвинул соседа, освободив для юноши край скамьи. По грубой ласковости с ирландцами не сравнится никто. Генри сел, не догадываясь, что честный моряк из Корка успел увидеть его золотую монету.

– Спасибо, – сказал он. – А куда вы плывете?

– Ну, плаваю-то я везде, куда ходят корабли, – ответил Тим. – Я честный моряк из Корка и одним только плох: не звенят у меня монеты в кармане, да и только. Уж и не знаю, как я заплачу за здешний отличный завтрак, ведь в карманах у меня пусто, – добавил он медленно и выразительно.

– Ну, если вы без денег, так я заплачу за вас, только вы расскажите мне про море и корабли.

– Вот я сразу в тебе джентльмена распознал! – воскликнул Тим. – Чуть увидел, как ты вошел... Ну и глоточек винца для начала? – спросил он и, не дожидаясь согласия Генри, кликнул служанку, а потом поднес стопку с бурой жидкостью к самым глазам.

– Ирландцы ее называют уйскебо. И значит это «вода жизни»; а англичане – виски. Просто «вода». Да будь вода такой крепкой да и чистой, я бы не на корабле, а в волнах плавал! – Он оглушительно захохотал и единым духом осушил стопку.

– А я в Индии поплыву, – сказал Генри, надеясь, что он опять заговорит про море.

– В Индии? Так ведь и я тоже. Уходим завтра на Барбадос с ножами, серпами и материями для плантаций. Хороший корабль, бристольский, только шкипер человек суровый, а в вере прямо-таки неистовый – он из плимутской общины. Знай орет про пламя адово, дескать, молитесь и кайтесь, да только, по-моему, очень ему нравится, что кому-то огня этого не миновать. Будь по его, гореть бы нам всем до скончания века. Ну да я такой веры понять не могу. Коли «Аве Мария» человек не читает, какая же это вера?

– А... а нельзя ли и мне... поплыть с вами? – спросил Генри прерывающимся голосом.

Простодушные глаза Тима укрылись под веками.

– Будь бы у тебя десять фунтов... – начал он медленно и, заметив, как вытянулось лицо юноши, тут же поправился: – То есть пять, хотел я сказать.

– У меня теперь осталось только четыре полные фунта, – грустно сказал Генри.

– Ну, может, и четырех хватит. Давай-ка мне свои четыре фунта, и я поговорю со шкипером. Он ведь человек-то неплохой, если его веру и чудачества без внимания оставлять. Да не гляди ты на меня так! Ты же со мной пойдешь. Неужто я сбегу с четырьмя фунтами молодого человека, который меня завтраком угостил? – Его физиономия расплылась в широкой улыбке. – А ну-ка, выпьем за то, чтобы ты поплыл с нами на «Бристольской деве», – сказал он. – Мне стопочку уйскебо, а тебе винца из Опорто!

Тут принесли завтрак, и оба на него накинулись. Утолив первый голод, Генри сказал: – Меня зовут Генри Морган. А тебя Тим. Но фамилия у тебя какая?

Матрос шумно захохотал:

– Мою фамилию разве что в Корке в придорожной канаве отыщешь. Отец с матерью ждать не стали, чтоб мне свою фамилию сказать. Да и Тимом-то меня никто не называл. Только имечко это вроде как даровое, бери его – никто и не заметит. Ну, как с листками, что сектанты на улицах подбрасывают и деру, чтоб никто их с ними не видел. А Тим – это как воздух: дыши себе, и никому нет дела.

Покончив с завтраком, они вышли на улицу. Там теперь кишели лоточники, мальчишки с апельсинами, старухи со всякой мелочью. Город выкликал тысячи своих товаров. Драгоценности, привезенные кораблями из самых неведомых уголков мира, вываливали, точно репу, на пыльные прилавки Кардиффа. Лимоны. Ящики кофе, чая, какао. Пестрые восточные ковры и магические снадобья из Индии, показывающие тебе то, чего на самом деле нет, и дарящие наслаждения, которые рассеиваются без следа. Прямо на улицах стояли бочонки и глиняные кувшины с вином с берегов Луары и со склонов перуанских Анд.

Они вернулись в порт к красавцам кораблям. С воды на них пахло запахом дегтя, нагретой солнцем пеньки и сладостью моря. Наконец вдалеке Генри увидел большой черный корабль с надписью золотыми буквами на носу «Бристольская дева». Рядом с этой морской чаровницей и город, и плоскодонные баржи казались безобразными и грязными. Ее легкие, плавные линии, какая-то чувственная уверенность в себе ударили в голову, заставляли ахнуть от удовольствия. Новые белые паруса льнули к реям, точно длинные вытянутые коконы шелковичных червей, а палубы ее сверкали свежей желтой краской. Она чуть покачивалась на медленной зыби, словно горя нетерпением полететь в любой край, нарисованный твоим воображением. Среди скучных бурых судов она была как темнокожая царица Савская.

– Чудесный корабль, отличный корабль! – воскликнул Генри ошеломленно.

Тим был польщен.

– погоди, вот поднимешься на борт, посмотришь, как там все заново отделано, пока я со шкипером поговорю.

Генри остался стоять на шкафуте, а его долговязый спутник пошел на корму и сдернул шапку перед тощим, как скелет, человеком в заношенном мундире.

– Я парня привел, – сказал он шепотом, хотя Генри никак не мог его слышать. – Он решил в Индии отправиться, так я подумал, что, может, вы захотите его взять, сэр.

Тощий шкипер насупил брови.

– А он крепкий, а, боцман? Толк от него на островах будет? Они же прямо как мухи мрут еще в первый месяц. Ну и жди неприятностей, когда зайдешь туда в следующий раз.

– Он там, позади меня, сэр. Сами посмотрите. Вон он. И сложен хорошо, и силенка есть.

Тощий шкипер оглядел Генри, начав с крепких ног и кончив широкой грудью. Взгляд его стал одобрительным.

– Да, парень крепкий. Хорошо сделано, Тим. Получишь с этого деньги на выпивку и в море добавочную порцию рома. А он что-нибудь знает?

– Ничего.

– Ну так и не говори ему. Поставь помогать в камбуз. Пусть думает, что отрабатывает проезд. Не то хныканью конца не будет. Только вахте помеха. Узнает, когда туда придем. – Шкипер улыбнулся и отошел от Тима.

– Можешь плыть с нами! – воскликнул Тим, и Генри онемел от восторга.

– Однако, – внушительным тоном продолжал боцман, – четырех фунтов тут маловато. Придется тебе помогать в камбузе.

– Все, что надо, – еле выговорил Генри, – я буду делать все, что надо, только бы плыть с вами.

– Раз так, пойдем-ка на берег и выпьем за удачное плавание. Я уйскебо, а ты того же превосходного винца.

Они зашли в пыльную лавочку, где на полках вдоль стен стояли винные сосуды всех форм и размеров, от небольших пузатых фляжек до гигантских бутылей. Через некоторое время они запели, отбивая такт ладонями и глупо улыбаясь. Но затем теплое вино из Опорто пробудило в юноше приятную грусть. Он почувствовал, что на глаза ему навертываются слезы, и обрадовался. Пусть Тим увидит, что он носит в сердце печаль, что он не пустоголовый мальчишка, которому вдруг взбрело на ум отправиться в Индии. Вот он откроет ему глубины своей души.

– А знаешь, Тим, – сказал он, – я ведь с моей девушкой расстался. Ее зовут Элизабет. Волосы у нее золотые-золотые, как ясное утро. Ночью перед тем, как уйти, я позвал ее, и она пришла ко мне в темноте. Темнота прятала нас, как шатер, холодная темнота. Она плакала, просила меня не уходить, даже когда я говорил, какие драгоценности, украшения и шелка привезу ей – и очень скоро. Она не могла утешиться, и у меня сердце надрывается, чуть вспомню, как она рыдала там и не отпускала меня. – Из его глаз выкатились слезы.

– Знаю, – ласково сказал Тим, – знаю, как бывает грустно человеку, когда он расстается с девушкой и уходит в море. Не я ли с сотней их расставался – одна другой краше? Дай-ка я тебе налью, малый. Вино нравится женщинам больше всех сластей Франции и мужчины, которые его пьют. Вино всякую женщину делает красавицей. Кабы у дверей каждой дурнушки стояла чаша с вином, точно чаша святой воды во храме Божьем, так в городах куда больше свадеб играли бы. Человек и не заметил бы, какие они с лица. Ну-ка, выпей еще этого превосходного вина, развея грусть, пусть бы она и принцессой была, а ты уходишь в море!

II

Они отплыли в Индии, в чудесные далекие Индии, где обретались мечты стольких юношей! Огромное утреннее солнце пробивалось сквозь утренние туманы, и матросы высыпали на палубу, точно обитатели разворошенного муравейника. Отрывистые команды послали их вверх по вантам и реям. Матросы «запели песню кабестана», а из моря поднялись якоря и прильнули к бортам, как коричневые ночные бабочки, мокрые от росы.

В Индии! Белые паруса знали это, и развернулись, и изящно наполнились ветром, точно сотканые из тончайшего шелка; черный корабль знал это и гордо оседлал отлив под свежим утренним бризом. «Бристольская дева» осторожно выбралась из гущи судов и поплыла вниз по длинному заливу.

Туман мало-помалу смешивался с небом. Вот камбрийский берег засинел, заголубел и слился с прямой линией горизонта, точно безумный мираж пустыни. Черные горы стали тучкой, а потом легким дымком, а потом Камбрия исчезла, будто ее и вовсе не было.

Позади по левому борту остались Порлок, и Илфракум, и множество деревушек, приютившихся в холмах Девоншира. Чудесный, в меру крепкий ветер увлекал их мимо Стреттона, мимо Кэмелфорда. Корнуолл уходил назад, одна голубая миля за другой. Вот уже Лэндс-Энд, заостренный кончик, завершающий подбородок Англии; и когда они обогнули его с севера на юг, в свои права наконец вступила Зима.

Море с рычанием вздыбилось, и корабль помчался от лающей своры ветров, точно сильный горный олень, помчался под нижними парусами. Буря с воем неслась из обители Зимы на севере, а «Бристольская дева», смеясь над ней, бежала наискосок, на юго-запад. Стало очень холодно, оледеневшие полотнища звенели под ветром, как струны гигантской арфы под пальцами сумасшедшего великана, и реи жалобно стонали, взывая к рвущимся вперед парусам.

Четыре бешеных дня буря гнала их в океан и корабль пьянел от радости борьбы. Собираясь на баке, матросы хвалили его быстроту и крепость. А Генри упивался бурей, как юный бог. Бешенство ветра было его бешенством. Ему нравилось стоять на палубе, держаться за мачту,

резать ветер подбородком, как бушприт разрезал валы, и ликующе петь, изливая радость, разрывающую ему грудь, – радость, подобную боли. Холод промыл линзы его глаз, и он яснее видел дали, смыкавшиеся кольцом вокруг него. И прежнее желание слилось с новым – обрести крылья и взмыть в беспредельное небо. Корабль превращался в качающуюся, содрогающуюся темницу, потому что он всем своим существом устремлялся вперед и ввысь. О, стать бы богом и покорить бурю, а не покоряться ей! Пряность ветра утоляла голод и звала, влекла его вперед. Он готов был взвалить на плечи груз всего мира, и стихии вливали в его мышцы новую силу.

Затем дьявольские служители времен года исчезли столь же внезапно, как и набросились на них, и впереди теперь лежала ясная чистая морская гладь. Корабль бежал под всеми парусами, и надувал их вечный пассат, свежий надежный ветер, дыхание Бога Мореходства, его дар высоким кораблям с крыльями парусов. Недавние тяготы были забыты, матросы играли на палубах, как расшалившиеся, полные сил дети, ибо пассат полон юного задора.

Наступило воскресенье – на «Бристольской деве» день угрюмого страха и дурных предчувствий. Генри закончил свою работу в камбузе и поднялся на палубу. На крышке люка сидел старый матрос и плел длинный сплесень. Его пальцы ловко работали словно сами по себе, потому что старик ни разу даже не взглянул на сращиваемые пряди. Его голубые сощуренные глазки смотрели куда-то за грань всего сущего, подобно глазам всех моряков.

– А, так ты хочешь узнать тайну канатов? – сказал он, не отводя взгляда от горизонта. – Ну, тогда придется тебе поднапрячь глаза. Я уже столько лет сплесниваю, что моя старая башка позабыла, как это делается. Только пальцы помнят. А стоит мне подумать, что да как, и сразу путаюсь. Ты что же, матросом станешь, на салинги лазить будешь?

– Да я бы хотел, если бы научился со снастями управляться.

– Со снастями управляться нехитро. Только прежде научись терпеть такое, что сухопутным крысам и не снилось. Это первое дело. И тяжелое. Но уж начав, так никогда и не кончишь. Вот я с десятков лет подумываю, как бы навсегда сойти на берег, погреть старые кости у огня. Поразмыслить о том о сем да и отдать концы. И ничего не выходит. Оглянуться не успею, а ноги уже несут меня на какой-нибудь корабль.

Его перебил злобный трезвон судового колокола.

– Пошли, – сказал старик. – Сейчас шкипер попотчует нас сказками с угольками.

Шкипер с лицом черепа грозно встал перед командой, опоясав чресла во славу своего Бога. Они глядели на него с беспомощным страхом, как птички на подползающую змею, ибо его глаза пылали неистовой верой, а с узких губ срывались яростные слова.

– Господь поразил вас лишь тенью тени Своей сокрушающей мощи, – вопил он. – Он явил вам силу Своего мизинца, дабы вы могли покаяться, прежде чем полетите кувырком в адское пламя. Услышьте имя Божье в грозном ветре, покайтесь в блуде и богохульстве. Он покарает вас даже за ваши греховные помыслы. Море было притчей, и она сжимала вам глотку ледяной рукой, душила ужасом. Но вот ураган промчался, и вы его забыли. Вы веселитесь, и нет в вас ни капли раскаяния. Но да послужит вам предостережением Господень урок. Покайтесь! Или гнев Его сокрушит вас.

Он бешено размахивал руками и обличал бедных одиноких мертвецов, горящих в вечных муках, потому лишь, что уступали простым и милым человеческим слабостям. А потом отослал своих запуганных матросов.

– И не так это все! – гневно сказал Генри старый моряк. – Не верь ты его полоумным речам. Тот, Кто сотворил ураган, будь он Бог или дьявол, сотворил его, чтобы порадоваться ему. Разве Тот, Кто может вот так повелевать ветрами, станет морочить себе голову из-за какой-то скорлупки в необъятном океане? Уж я бы не стал, будь я Бог или дьявол.

Тим, боцман, подходя к ним, услышал последние слова старика и предостерегающе положил руку на плечо Генри.

– Верно-то верно, – сказал он, – да только поберегись, как бы до него не дошло, что ты говоришь такое или даже слушаешь, не то он тебе покажет линьком мощь Божью. С ним и с его Богом лучше не связываться, да еще мальчишке, который отскребаёт котлы в камбузе.

Пассат никогда не стихает. Когда Генри, кончив оттирать котлы и убирать очистки, разговаривал с матросами, взбирался по вантам, узнавал названия и назначение корабельных снастей, матросы видели перед собой тихого вежливого паренька, который глядел на них так, будто каждое их слово было великим подарком, а сами они щедрые сердцем мудрецы. И они учили его всему, чему могли: парнишка-то просто рожден для моря. Выучил он и длинный и короткий напевы, под которые тянут снасти – один быстрый, отрывистый, а другой протяжный, плавный. Он пел с ними песни о смерти, и бунтах, и крови в море. С его губ срывалась теперь особая, чистая матросская ругань: грязные, гнусные, кощунственные выражения обретали непорочную белизну, ибо в его устах они лишались всякого смысла.

По ночам он лежал тихо-тихо, слушая, как матросы толкуют о чудесах, которые видели или придумали сами, – о морских змеях длиной с милю, что обвивают корабли, сокрушают их в своих кольцах и проглатывают; о гигантских черепахах, на чьих спинах растут деревья, текут ручьи, стоят целые деревни, ведь ныряют они раз в полтысячи лет. Под качающимися фонарями они рассказывали, что финны могут высвистать бурю, чтобы отомстить; что в море есть крысы, которые подплывают к кораблю и грызут днище, пока он не утонет. С дрожью они вспоминали, что тот, кто увидит ужасного, вымазанного в слизи кракена, уже никогда не доберется до берега, ибо будет вовеки проклят. Говорили они про бьющие вверх водяные струи, про мычащих коров, которые обитают в море и кормят своих телят молоком, как коровы на суше, и про призрачные корабли, вечно скитающиеся по океанам в поисках исчезнувшего порта, – паруса на них ставят и убирают выбеленные ветром и солнцем скелеты. А Генри в полутьме, затаив дух, ловил их слова со всем неистовством своей жажды.

Как-то ночью Тим потянулся и сказал:

– Про ваших больших змеев я ничего не знаю, не видел я и кракена, Господи избави! Но хотите послушать, так и мне есть о чем рассказать.

Я тогда еще мальчишкой был, как этот вот, и плавал на вольном корабле, который рыскал по океану и добывал, что придется: то десяток черных рабов, то золотое колечко с испанского судна, не сумевшего отстоять себя, – ну, словом, ничем не брезговали. Капитана мы сами выбирали без всяких патентов, а вот флаги у нас были разные и хранились на мостике. А увидим в трубу военный корабль – и дадим тягу.

Ну так вот, увидели мы на утренней заре по правому борту маленький барк, поставили все паруса и погнались за ним. Погнались и догнали. Испанский он был, а поживиться так и нечем: соль да невыделанные шкуры. Только обшарили мы каюту, а там – женщина, высокая, стройная, волосы черные, лоб широкий, белый, а пальцы длинные, тонкие-тонкие, я таких и не видывал. Ну, мы забрали ее к себе на борт, и ничего больше. Капитан было повел ее на квартердек, но боцман их перехватил.

– Мы, – говорит, – вольный экипаж, а капитан ты выборный. Нам эта женщина тоже не лишняя, и если дележа не будет, так жди бунта.

Капитан нахмурился, поглядел вокруг, а все на него хмурятся. Ну, он плечи расправил и засмеялся, злобно так.

– И какой дележ будет? – спрашивает, а сам думает, что вот сейчас начнется из-за нее драка. Однако боцман вытащил из кармана игральные кости и бросил на палубу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.